

В Красную Пахру в дом писателя Юрия Нагибина я ехала, испытывая волнение, передать которое невозможно. Так волнуешься только в юности — перед свиданием или экзаменом. Я ехала, и одна мольба стучала мне в висок: «Пусть будет его дом прекрасным! Пусть будет чистым и возвышенным... Как его книги». — Здравствуйте, я — Алла, жена Нагибина, — красивая высокая женщина протянула мне руку. Я сразу узнала ее, эту узкую, сильную, нежную, нервную руку, которую с таким пронзительным ощущением счастья Нагибин описал в «Рассказе синего лягушонка».

...Нет, этот дом меня не разочаровал. Он оказался именно таким, о каком я молила. В его комнатах растворена ЧИСТОТА. Чистота — его любимое слово. Чистая душа. Чистый источник. Чистая совесть. Повесть «Тьма в конце туннеля» перевернула мою жизнь. Мы ведь живем — и грязь налипает на душу, как наэлектризованная пыль на полированную мебель. Вчера обидел коллегу, сегодня «обсудил» соседа... забыл написать матери... Долги копятся. Моральные долги копятся, копятся... Душа затягивается паутиной, но ты не замечаешь: жизнь суетлива. И вдруг — жесткая, беспощадная «Тьма...»

Кто я? Откуда родом? — Нагибин ищет свои истоки, узнает своего настоящего отца и себя — как Отца. Как Отца и сына своего отца. Честный читатель всегда становится судьей самому себе, когда сталкивается с литературой честного писателя. И очищает душу. Чистота — любимое и главное слово Нагибина.

В его доме я дышала этой чистотой — чуть прохладной, суровой и нежной... — ...Но я дала себе слово: никогда никаких интервью, — упрямо склонив белокурую голову, говорит мне Алла Григорьевна. — Мы прожили с Нагибиным такую долгую, счастливую и серьезную жизнь, что я не хочу быть этакой, знаете, активной, хлопотливой, суетящейся вдовой. Я вспомнила «Синего лягушонка». Нагибин писал: «В нашей долгой жизни... — мы и серебряную справили — было столько Берендеевых лесов, столько Средиземноморья, островов, лагун, столько храмов и старинных городов, дивной музыки и нетленной живописи, а образом счастья оказался мокрый сад, терраса и глинные пальцы...» Он был счастлив. Любим и счастлив. Он сам любил так сильно, что чувствовал себя синим лягушонком — экзотическим существом в нашей жизни — болоте.

...Его нет больше в этом Прекрасном Чистом доме. Есть его стол — большой, роскошный писательский стол. На столе — рукописи, очки, ручка... Он навсегда в этом доме. И в нашей памяти. С нами его проза — чистая, сильная, нежная. С нами его синий лягушонок — мудрая, чистая душа лягушонка. И эта ее рука — узкая, сильная, нервная... Она подарила для «Учительской газеты» маленький рассказ Нагибина. Он публикуется впервые. 3 апреля Юрию Марковичу Нагибину — 75 лет.

Светлана ЦАРЕГОРОДЦЕВА

Красная Пахра - Москва

Дом отдыха был окружен огромным садом, прочерченным аллеями, но все же не до конца укрощенным человеческой тягой к порядку.

Было около семи утра, когда я вышел в сад. Всю ночь я писал, голову ломили неприснившиеся сны, и хорошо пахло виски и лоб прохладной утренней свежестью.

Седая роса искрилась, словно иней, на травах и нераскрывшихся цветах. В бокальчиках листьев настурций лежали ее полновесные капли.

Нить паутины протянулась наклонно между двух сосен, и по ней вверх-вниз, словно воск по драпке, бегал солнечный блик.

Соловей попробовал голос. Другой соловей повторил ноту, но только звончей и свободней. Снова первый соловей взял ноту, неуверенно и слабо. Второй голос подхватил, усилил, донес до настоящего искусства. Он как будто звал первый голос за собой, и тот попробовал идти за ним, но тут кукушка принялась высчитывать кому-то годы и погасила короткую вспышку неопытного певца. И снова второй голос подал сигнал...

Опытный соловей ставил голос соловьиновичку. Но тот был просто бездарен, что во все не редкость у соловьев. Все усилия соловья-учителя привели лишь к тому, что ученик

Юрий НАГИБИН

Сад утром и вечером

Публикуется впервые

заладил на одной ноте что-то очень бедное. И тут, возмущенный его неискusstвом, ударил и разлетелся трелью другой соловей. Притихли все птицы, только голос соловья, не нежный, а мощный, уверенный в силе своей и великолепно, наполнил сад.

Зеленая пыль взметнулась в воздухе, закружилась, разлетелась по всему саду. Пыль густела, уплотнялась и скоро замутила простор. Померкли солнечные лучи, оборвал песню соловей, все затаилось, словно в предгрозе. Качались сосны, это они подняли пыль.

Цветы и травы стояли спокойно, не ощущалось даже малейшего дуновения ветра, и оттого казалось, что сосны сами стряхивают с ветвей бледно-зеленое пыльцевидное семя.

Нежный гул, такой тихий, что все остальные звуки в природе, как бы ни были они тонки, казались грубыми и жесткими в сравнении с ним, наполнил весь простор, словно был его шепчущим голосом.

Торчащие вертикально мягкие желтые шишечки похожи на восковые свечи. Они мерно покачиваются, и зеленая пыль обволакивает их, словно чехольчиками.

Медленно пыль оседает. Зеленые полукружья ложатся на дорожку, на равнодушные к ней цветы и травы.

Умиротворенные затаихот ветви сосен. Вспыхивают на коре многоцветные жилки, птицы заводят разговор.

Брачное таинство сосен свершилось.

Я с треском вбил в лузу последний шар, мы пожали друг другу руки и вышли в сад пройтись перед сном.

Сад был обильно влажным от росы и шумно пах крепким настоем сосновой смолы, мокрой хвоей у подножий деревьев, полевой горчицы и ландыша. Ни луны, ни звезд не было видно за верхушками деревьев, но тихий свет их лежал сияющими полосами на дорожках. Мы пошли по влажному, похрустывающему песку. Лягушата прыгали поперек дороги, бесстрашно задевая наши ботинки.

Вверху, среди деревьев, шла какая-то потайная жизнь. То всплывет крыльями невидимая птица, чье-то тело прошуршит по ветвям, и вдруг с размаху гулко стукнется о ствол; разбуженная, над кулем своего гнезда, поднимется резким взлетом, прокричит гортанно и сухо ворона и вновь сольется с деревом, спустится в свое гнездо. И опять шорох, бормотанье в ветвях, и вдруг высокий, злобный вскрик испуганного или застигнутого смертью существа...

Впереди, где дорожка шла мимо гаража и сворачивала в глубь сада, над ней простерлась черная сосновая лапа, стоящие стоймя шишечки горели под луной. Мой спутник был искусствоведом, аспирантом художественного института, и мне захотелось рассказать ему, как

утром мне привелось быть свидетелем брачного таинства сосен. В безветрие сосны вдруг согласно зашумели, затрясли ветвями, сбросив с них зеленоватую пыльцу, семя всех сосен сложилось в плотное зеленое облако, на несколько минут пригасившее солнце...

— А вы умеете видеть, — одобительно сказал он, и, поощренный похвалой знатока, я заговорил о живописи, которую люблю едва ли не больше, чем литературу.

Не знаю, слышал ли он мои робкие и сбивчивые рассуждения о том, что лишь средствами живописи можно передать темноту этого сада, темноту во всех ее оттенках: белесую темноту дорожек, бледно высветленных месяцем, темень черных деревьев и еще более глущую, плотную, непроницаемую тьму прозоров между дальними деревьями, там, в глубине сада. Он молчал, пораженный чем-то в глубине самого себя.

Мы подошли к гаражу и свернули в другую аллею, на миг отбросив на дорожку четкие тени: моя корочка, шире, его длиннее, зыбче, с кудрявой шапкой волос, отпечатавшихся до последнего завитка. Тени исчезли за нашими спинами, лишь только мы вступили в аллею.

— Давайте сядем! — отрывисто произнес он и, не дождавшись согласия, опустился на скамейку.

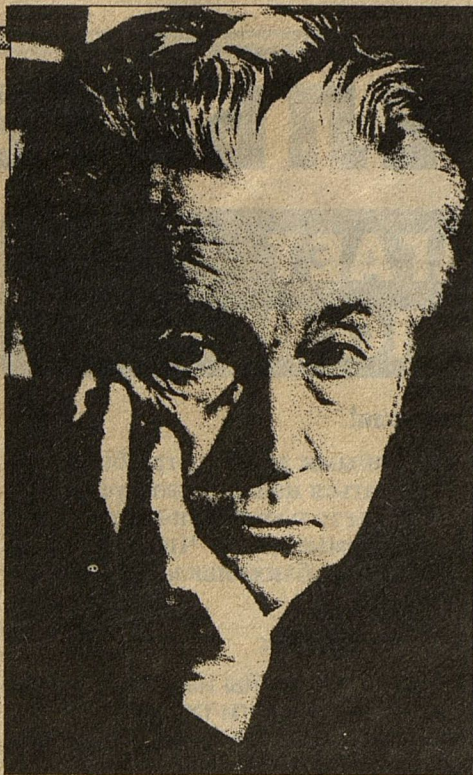
Я последовал его примеру. Сквозь полотняные брюки ощущались холод и влага скамейки, когда же я отвалился к спинке, то и лопатки зябко ощутили чуть клейкую сырость.

Ловя собственное дыхание, по аллее промчался овчар Арно, блеснул его ошейник, качнулись травы обочь дорожки, сверкнув каплями росы на стеблях.

— Живопись, — сказал он, и голос его пресекся. — Живопись... — он тяжело дышал, я видел, как подымалась и опускалась в вырезе рубашки его крепкая грудь. Его волнение сообщилось мне, я глубоко втянул воздух, — словно затяжкой крепкого табаку проняло все тело крепким благоуханием травы и зелени.

— Живопись есть... — он не глядел на меня, вглубь, в темень сада устремлены его глаза с яркими пятнами белков. Я понимал его, эти слова надо снять с сосновых ветвей, с листьев и стеблей трав, словно росу. — Живопись есть, — голос его нахлынул, он обрел единственное слово, — изображение внешнего мира, как объективно данной нам реальности, на плоскости посредством красок... — он дышал глубоко, слышимо, чуть спадающим дыханием.

— Пошли спать, — сказал я, — сыро, да и комары...



44.95.
Нагибин Юрий